

Отголоски печати.

Толстой о Чеховѣ.

Въ *Руси* Г. А. Зенгеръ подробно передаетъ о своемъ свиданіи съ Л. Н. Толстымъ.

— Чеховъ... Чеховъ, видите ли, это былъ несравненный художникъ... Да, да... Именно несравненный... Художникъ жизни... И достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человѣку вообще... А это—главное... Я какъ то читалъ книгу одного нѣмца, и тамъ вотъ молодой человѣкъ, желая сдѣлать своей невѣстѣ хорошій подарокъ, дарить ей книги; и чьи?—Чехова... считая его выше всѣхъ извѣстныхъ писателей... Это—очень вѣрно; я былъ пораженъ тогда... Онъ бралъ изъ жизни то, что видѣлъ, независимо отъ содержанія того, что видѣлъ. Зато, если ужъ онъ бралъ что нибудь, то передавалъ удивительно образно и понятно,—до мелочей ясно... То, что занимало его въ моментъ творчества, то онъ воссоздавалъ до послѣднихъ черточекъ... Онъ былъ искреннимъ, а это—великое достоинство; онъ писалъ о томъ, что видѣлъ и какъ видѣлъ... И благодаря искренности его, онъ создалъ новыя, совершенно новыя, по моему, для всего міра формы письма, подобныхъ которымъ я не встрѣчалъ нигдѣ! Его языкъ—это необычный языкъ. Я помню, когда я его въ первый разъ началъ читать, онъ мнѣ показался какимъ страннымъ, „нескладнымъ“; но какъ только я вчитался, такъ этотъ языкъ захватилъ меня... Да, именно, благодаря этой „нескладности“ или, не знаю, какъ это назвать, онъ захватываетъ необычайно и, точно безъ всякой воли вашей, вкладываетъ вамъ въ душу прекрасные художественные образы...—Я смотрю на Льва Николаевича и невольно смѣюсь... Вѣдь это же о своемъ языкѣ говоритъ онъ такъ убѣжденно, почти сердито... Онъ съ удивленіемъ взглядываетъ на меня.

— Простите, Левъ Николаевичъ,—спѣшу я объяснить свой смѣхъ.—Но вѣдь это—именно ваше свойство: писать совершенно новымъ, простымъ языкомъ и, благодаря этому языку, особенно захватывать читателей!...

— Нѣтъ, нѣтъ!...—отвѣчаетъ онъ сердито и потряхиваетъ головой.—Я повторяю, что новыя формы создалъ Чеховъ, и, отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике онъ, Чеховъ, гораздо выше меня!... Это—единственный въ своемъ родѣ писатель... Въ Чеховѣ есть еще большой признакъ: онъ—одинъ изъ тѣхъ рѣдкихъ писателей, которыхъ, какъ Диккенса и Пушкина и нѣкоторыхъ подобныхъ, можно много, много разъ перечитывать:—я это знаю по собственному опыту...—Я боюсь сердить его и потому не говорю уже, а только думаю: опять же это ваше главное свойство... „Война и миръ“, „Анна Каренина“... кто изъ насъ не перечитывалъ этого десятки разъ?

А Толстой заканчиваетъ уже свою рѣчь:

— Одно могу сказать вамъ, смерть Чехова это—большая потеря для насъ,—тѣмъ болѣе, что кромѣ несравненнаго художника, мы лишились въ немъ прелестнаго, искренняго и честнаго человѣка... Это былъ обаятельный человѣкъ; скромный, милый...

Интересенъ также отзывъ Л. Н. Толстого по поводу орфографической реформы, Л. Н. является здѣсь убѣжденнымъ консерваторомъ:

— Ну, а теперь я вамъ скажу о другомъ. Это—мелочь, конечно, но объ этомъ столько говорятъ, что я уже давно хочу сказать по этому поводу нѣсколько словъ... о реформѣ правописанія...—Онъ минуту думаетъ и затѣмъ рѣшительно произноситъ:—по моему, реформа эта—нелѣпа... да, да, нелѣпа... Это—типичная выдумка ученыхъ, которая, конечно, не можетъ пройти въ жизнь. Языкъ—это послѣдствіе жизни; онъ созданъ исторически, и малѣйшая черточка въ немъ имѣетъ свое особое, осмысленное значеніе...—Голосъ Льва Николаевича становится опять сердитымъ.—Человѣкъ не можетъ и не смѣетъ передѣлывать того, что создаетъ жизнь; это—безсмысленно пытаться исправлять природу, безсмысленно... Говорить, гимнастамъ будетъ легче. Да, можетъ быть, но зато намъ будетъ труднѣе; да и имъ будетъ легче только писать, а читать они будутъ дольше, чѣмъ мы читаемъ... Для меня, напримѣръ, очень трудно разбирать письма безъ твердаго знака; сплошь да рядомъ читаешь и не знаешь, къ какому слову отнести промежуточную букву: къ предыдущему или слѣдующему... Ну, къ этому еще можно привыкнуть; мы такъ и записываемъ: къ отсутствію твердаго знака можно привыкнуть... Что же касается до уничтоженія „а“, „ѣ“ и прочихъ подобныхъ буквъ, то ужъ это—нелѣпо... Это, какъ я уже сказалъ, упростить, можетъ быть, писаніе, но за то безусловно удлинить процессъ чтенія: вѣдь мы только пишемъ по буквамъ, читаемъ же вовсе не по буквамъ, а по общему виду словъ. Мы беремъ слово сразу нашимъ взглядомъ, не разбивая его на слога; и потому для всякаго читающаго каждое слово, обла-

дая своеобразнымъ написаніемъ, имѣетъ свою особую физиономію, которую ему создаютъ, именно, эти „ѣ“ и „э“. И, благодаря этой физиономіи, я знаю это слово, даже не вникая въ него, какъ узнаю знакомое лицо среди сотни другихъ, менѣе знакомыхъ; и потому я такое слово воспринимаю легче другихъ... Вотъ, я очень бѣгло читаю, такъ, что вижу всегда нѣсколько впередъ; и если, напримѣръ, я впереди вижу „ѣ“ въ словѣ „тѣнь“, то я уже знаю, что это—именно, „тѣнь“, а не „темя“, или что-либо другое; и зная, что это „тѣнь“, я уже предугадываю всю фразу, и мнѣ это облегчаетъ процессъ чтенія... Однимъ словомъ, благодаря такимъ „личнымъ“ признакамъ, которыми одарены слова при современномъ правописаніи, я получаю возможность читать быстро. Если же написаніе станетъ однообразнымъ, т. е. каждое слово лишится своихъ личныхъ признаковъ, то узнавать мнѣ его будетъ труднѣе и, конечно, читать я буду медленнѣе... Дѣло привычки, говорите вы? Это вотъ всѣ говорятъ, но я отвѣчу вамъ вотъ что: привыкнуть къ этому, дѣйствительно, можно и не трудно, но что процессъ чтенія отъ этого слѣдствуется медленнѣе, такъ это—тоже очевидно... А это было бы очень печально.
